

Александр Грин

Карантин



Александр Грин

Карантин

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=270412

Аннотация

«Сад ослепительно сверкал, осыпанный весь, с корней до верхушек, прозрачным благоуханным снегом. Зеленое озеро нежной, молодой травы стояло внизу, пронизанное горячим блеском, пламеневшим в голубой вышине. Свет этот, подобно дождевому ливню, катился сверху, заливая прозрачный, яблочный снег, падая на его кудрявые очертания, как золотистый шелк на тело красавицы. Розоватые, белые лепестки, не выдерживая горячее, золотой тяжести, медленно отделяясь от чашечек, плыли вниз, грациозно кружась в хрустальной зыби воздуха. Они падали и реяли, как мотыльки, бесшумно пестря белыми точками нежную, тихую траву...»

Содержание

I	4
II	10
III	17
IV	21
V	26
VI	39
VII	44
VIII	47
IX	52

Александр Степанович Грин Карантин

I

Сад ослепительно сверкал, осыпанный весь, с корней до верхушек, прозрачным благоуханным снегом. Зеленое озеро нежной, молодой травы стояло внизу, пронизанное горячим блеском, пламеневшим в голубой вышине. Свет этот, подобно дождевому ливню, катился сверху, заливая прозрачный, яблочный снег, падая на его кудрявые очертания, как золотистый шелк на тело красавицы. Розоватые, белые лепестки, не выдерживая горячей, золотой тяжести, медленно отделяясь от чашечек, плыли вниз, грациозно кружась в хрустальной зыби воздуха. Они падали и реяли, как мотыльки, бесшумно пестря белыми точками нежную, тихую траву.

Воздух, хмельной, жаркий и чистый, нежился, греясь в лучах. Яблони и черемухи стояли как замороженные, задремав под гнетом белого, девственного цвета. Мохнатые, бархатные шмели гудели певучим баском, осаждая душистую крепость. Суетливые пчелы сверкали пыльными брюшками, роясь в траве, и, вдруг сорвавшись, быстрой, черной точкой

таяли в голубизне воздуха. Надсаживаясь, звонко и хрипло кричали воробьи, скрытые темной зеленью рябин.

Маленький сад кипел, как горный ключ, дробящийся червонным золотом в уступах гранита, и отражение этого веселого торжества сеткой теней и светлых пятен перебегало в лице Сергея, лежавшего под деревом в позе смертельно раненного человека. Руки и ноги его раскинулись как можно шире и свободнее, темные волосы мешались с травой, глаза смотрели вверх и, когда он закрывал их, свет проникал в ресницы красноватым сумраком, трогая веки. Сладкое бездумье, полное ленивой рассеянности, входило сквозь каждую пору кожи, нежа и расслабляя. Ни одна определенная, беспокойная мысль не гвоздилась в голове, и захотелось лежать так долго, спокойно, пока красный закат не встанет за черными углами крыш и не сделается темно, сыро и холодно.

Трудно было сказать, где кончается его тело и начинается земля. Самому себе он казался зеленью трав, пустивших глубоко белые нити корней в пьяную, рыхлую землю. Корни эти, извиваясь, убегали в самую толщу ее, в сырой и тесный мрак подземного царства червей, жучков и кривых, коричнево-розовых корней старых деревьев, пьющих весеннюю влагу. Растаяв, соединившись с зеленью и желтым светом, Сергей блаженно рассмеялся, крепко, сосредоточенно зажмурился и вдруг сразу открыл глаза. Прямо в них упала голубая зыбь, жаркая и светлая, а в нее, опрокинувшись, тянулись зеленые, трепетные листья.

Он повернулся на бок и стал смотреть в дремучую, таинственную чашу мелкого хвороста, бурых, прошлогодних листьев и разного растительного сора. Там кипела озабоченная суета. Продолговатые, черные жуки, похожие на соборных певчих, без дела слонялись во все стороны, торопливо спотыкаясь и падая. Муравьи, затянутые в рюмочку, что-то тащили, бросали и вновь тащили, двигаясь задом. Закружилась и села бабочка. Сергей деловито нахмурился и вытянул пальцы, целясь к белым, медленно мигающим крыльям.

– Ах, вы! Пшш! Маленький!..

Всхлопнули руки, и зашумела трава. Сергей поднял брови и оглянулся.

– Чего вы, Дуня? Где маленький?

– Бабочку вашу спугнула! – объяснила девушка, и в ее нежном лбу и линиях губ дрогнули смеющиеся складки. – Ищу вас, а вы – вон он где... Маленький-то – это вы, должно быть, Сергей Иванович... Делать-то вам больше нечего.

– Ну, ладно! – хмуро улыбнулся Сергей. – Что ж такое... Поймал бы и отпустил, ибо сказано: «всякое дыхание да хвалит господу...»

Дуня потянулась, ухватила рукой за черный кривой сук и подняла вверх свое тонкое, правильное лицо, одетое легким, румяным загаром. И в ее черных, спрашивающих глазах отразилось колыхание света, ветра и зелени.

– А вы думали – нет? Ясное дело, что хвалит, – протянула она. – Жарко. Я вам там письмо на столе положила, почта-

льон был.

– Неужели? – почему-то спросил Сергей.

Он встал, неохотно и сладко потягиваясь. Тонкая, цветная фигура девушки стояла перед ним, и согнутый сук дрожал и осыпался над ее головой мелким белым цветом. Там, откуда он приехал, не было таких женщин, наивных в естественной простоте движений, недалеких и сильных, как земля. Сергей опустил глаза на ее мягкую круглую грудь и тотчас же отвел их. Откуда это письмо?

Смутное, колющее чувство, странно похожее на зубную боль, заняло в нем, и сразу тоскливая, серая тень легла на краски зеленого дня. Каменный город взглянул прямо в лицо тысячами слепых, стеклянных глаз и пестрым гулом ударил в уши. Дуня улыбнулась, и он улыбнулся ей, машинально, углом губ. Раздражая, чирикали воробьи. Девушка отпустила сук, и он зашумел, устремившись вверх.

– Сегодня покатаюсь, – весело сообщила она. – Я, да еще Лина Горшкова, да столяриха, да еще канцелярщик один, Митрий Иваныч... Запоем на всю ивановскую. Гребля только плоха у нас – некому. Кабы не это – далеко бы забрались!..

– Великолепно, – задумчиво сказал Сергей. – Кататься – хорошее дело...

– А...

Дуня слегка открыла рот, собираясь еще что-то сказать, но только положила руки на голову и вопросительно улыбнулась.

– Что – «а»? – подхватил Сергей.

– Вы, небось, ведь не захотите... А то вместях бы... Митрий Ваныч сыграет что... Новая гармонь у него, к весне купил. Трехрядка, басистая... Уж так ли играет – прямо вздохнешь...

Неприятное чувство тревоги наскоро заменилось мыслью, что письмо ведь может быть незначительным и нисколько не страшным. Но идти в комнату медлилось и хотелось разговаривать.

– Ваша любезность, Дуня, – поклонился Сергей, – равняется вашему росту. Но...

Девушка смешливо фыркнула. Задорно блеснули зубы; на смуглых щеках проступили и скрылись ямочки.

– Но, – продолжал Сергей, – никак не могу. К моему величайшему сожалению... Буду писать письма, то да се... Так что спасибо вам за приглашение и вместе с тем – извините.

– Да ведь что ж, как знаете! Я только насчет гребли... Наши-то кавалеры бессовестно обленились... Вози их, чертей эдаких!..

Она сердито улыбнулась, и ее хорошенькое лицо сделалось натянутым и неловким.

«А не поехать ли в самом деле? – подумал Сергей. – Что ж такое? Будут визжать, брызгаться водой, петь и щипаться. „Митрий Ваныч“ разведет свою музыку. Еще стеснишь ведь, пожалуй. Нет, уж...»

Но тут же он увидел лодку, девушку, сидящую рядом, и

мысленно ощутил близость ее стройного, дразнящего тела.

«Нет, как-то неудобно», – сказал он себе еще раз и с тоской вспомнил письмо. И вместе с этим угасло желание чего-то бездумного и молодого.

– Пойти! – обронила Дуня. – Самовар поставить да мясо искрошить...

Девушка повернулась и удалилась быстрой, плавной походкой. В проломе старого, серого плетня, заменявшем садовую калитку, она обернулась и скрылась. Через минуту из белого, бревенчатого домика вылетел ее звонкий крик, раздались шлепки и отчаянный детский плач.

II

Сергей поднялся на крыльцо и ступил в сумеречную прохладу сеней. У дверей его комнаты, низеньких и обшмыганных, заслонив их своим телом, Дуня, согнувшись, удерживала за руки пятилетнюю сестренку Саньку, упорно желавшую сесть на пол. Ребенок пронзительно кричал, дергая во все стороны босыми, грязными ножками; платье его сплошь пестрело свежей, мокрой грязью. Заметив Сергея, Санька сразу утихла, всхлипывая и враждебно рассматривая фигуру «дяди» вспухшими, красными глазками. Дуня посторожилась, подымая напряженное, вспотевшее лицо.

– Гляньте, гляньте, что делает! Ишь ведь, ишь! Мука ты моя мученическая! Сладу никакого с ей нет... Просто наказание божеское!..

Торопливо подоткнув сбившуюся юбку, она мельком взглянула на Сергея и снова принялась возиться с Санькой, заголосившей еще громче и отчаяннее. Юноша отворил дверь и прошел в комнату.

После влажной, весенней жары и пестрого блеска, глаза приятно отдыхали, встречая стены, и легче было дышать. Белая занавеска, колыхаясь, закрывала окно; сквозь ее узорчатую сеть смутно виднелась освещенная, пыльная дорога улицы и маленькие домики с кирпичными низами, в серых, похожих на шляпы крышах. Кое-где пестренькие, дешевые

обои скрывались яркими олеографиями под стеклом, в черных, узких рамах. На зеленом ободранном сукне раскрытого ломберного стола лежали книги, привезенные Сергеем, и стоял письменный прибор, пестрый от чернильных пятен. Четыре желтых крашенных стула торчали вокруг стола и коричневого комода, а на полу тянулась запачканная холщовая дорожка.

Письмо синело на столе, в широком конверте. Сергей взял его и некоторое время с тревожным чувством досадливого нетерпения разглядывал резкий, безразличный почерк адреса. Старое желание выяснить себе и другим результат этих двух месяцев добровольного изгнания снова вспыхнуло и оборвалось чувством смутной, колеблющейся боязни. Слегка взволнованный, как будто простой, синий конверт донес и бросил ему в лицо старые, огненные мысли, забытые в городе, разбив несложную гамму весенних дней, – Сергей разорвал письмо и вынул тонкий, хрустящий листик. Нетерпеливо скомкав глазами неизбежный обывательский текст, маску настоящего смысла, он зажег свечку в медном, позеленевшем подсвечнике и поднес бумагу к огню, нагревая чистую, незаписанную сторону. Она коробилась, желтела и ломалась, но упорно молчала, как человек, не желающий поведать тайну, вверенную ему. И только тогда, когда пальцы Сергея заняли от огня и он хотел уже убрать их, – на бумаге выступили коричневые точки. Они ползли, загибались и, прежде чем последняя буква облеклась в плоть и кровь, Сергей уже

знал, что завтра приедет кто-то имеющий отношение к его судьбе, а потом надо будет уехать и умереть.

Сначала он прочитал ровные, твердые буквы совершенно равнодушно, машинально отмечая их мыслью и собирая в слова. Когда же они кончились и остановились во всей грозной наготе своего значения, он весь подобрался и стиснул зубы, готовый отразить грядущий удар. Только теперь совершенно ясно и определенно Сергей понял, что этого не будет и не могло быть. Там, где оглушенный, пылающий мозг дает обещания и падает грань между жизнью и смертью в тяжелом угаре судорожной борьбы, там есть своя правда и логика. А там, где хочется жить, где хочется есть, пить, целовать жизнь, подбирая, как драгоценные камни, малейшие ее крохи, там, быть может, нет ни правды, ни логики, но есть солнце, тело и радость.

В углу, где коробились порванные обои, показались далекая мостовая, люди, фонари, вывески. Толпятся лошади, экипажи. Кто-то едет... Кто-то бледный, с липким холодным потом на лице и грозой в сердце подымает руку, и все хохочет вокруг гремящим, страшным смехом и рушится...

Воробьи трещали за окном жадными, назойливыми глотками. Гроыхали скачущие телеги, стучал топор. Далекий город встал перед глазами, окруженный лесом труб и стадами вагонов. Он шумно, тяжело дышал и смеялся в лицо Сергею звонким, металлическим смехом, весь пропитанный мрачным, фанатическим налетом горения мысли.

Там, в центре кипучей, бешеной лихорадки нервов, огромный механизм жизненных сплетений неустанно ковал в сотнях и тысячах сердец волны чувств и настроений, окружая Сергея немой, загадочной силой порыва. Но как тогда измученный дух рвался к расплате с палачами жизни, так теперь было понятно и просто, что умирать он не собирался, не хотел и не мог хотеть.

Он никогда не забывал о яркой, лицевой стороне жизни, и жадность к ней росла по мере того, как отъедалось и отдыхало его обессиленное, издерганное тело, полное сильной, горячей крови. Шли дни – он жил. Вставало солнце – он умывался и улыбался солнцу. Дышал свежим, пьяным воздухом, пьянел сам, и все казалось веселым и пьяным. Земля обнажалась перед ним день за днем, пахучая, сильная, и зеленела. Тяжелело и росло тело, полное смутных желаний.

Было просто и хорошо, и хотелось, чтобы всегда было так: ясно, хорошо и просто.

Друзья и знакомые или те, кого он считал друзьями и знакомыми – походили теперь на маленьких, смешных и крикливых воробьев. Жизнь пела вокруг них, красивая, трепетная, а они шумели и прыгали, стараясь перекрычать жизнь. Рядом с этой картиной сверкнули бледные, измученные, издерганные лица, голодные глаза, вечно голодные мозги, вечно окаменевшие в муках сердца. Теперь он уже ясно видел полчища голов, горы книг и скупые, неуютные квартиры, похожие на лица старых девушек. Ставил прошлое на шаткие,

слабые ноги и смотрел. Краски стерлись, погасли тона, но контуры те же, резкие и угловатые. Кровью, своей и чужой, вписаны они. Только образы женщин и девушек, ясные и светлые, смягчали фон, как цветы – иконостас храма. Так строки великого поэта, взятые эпитафией к труду ученого, оставляют свой душистый след в кованых, тяжелых страницах...

И ревность к своей вере, неутомимая, гневная, тяжело дышит, готовая обрушиться всем арсеналом отточенной, жальщей и ранящей аргументации. А дальше, в углах, скрытых мраком, ползают гады и гудит тоскливый плач, сливая в одном потоке слезы бессилия, вздохи раба, тупую, скотскую злобу и детское, кровавое непонимание...

Сергею вдруг стало тяжело, противно и жалко. Взмолванный, слушая торопливый, таинственный шепот крови – он стоял и все еще не решался давно уже и бессознательно готовым решением порвать бег мысли. И, наконец, подумал то, что таилось внутри, быть может, там, где крепкое, цветущее тело возмущенно отвергало холод смерти. Коротенькая, в три слова была эта мысль:

– «Ни-за-что!»

И хотя после этого стало спокойнее и беззаботнее, все же было досадно на себя и чего-то жаль. Досадно потому, что и он, как многие, оказался способным создавать мысленно красивые, смелые дела. В периоды острых, нервных подъемов воображаемого подвига так приятно умирать героем и

вместе с тем радоваться, что ты жив.

За окном по-прежнему неугомонно и настойчиво кричали воробьи, и в крике их слышалось:

– Здесь есть один воробей – я! Чир-рик!..

Сергей вздохнул, открыл глаза и поднялся со стула. Потом усмехнулся, сладко зажмурился, зевнул и, спохватившись, быстро сжег письмо. Оно вспыхнуло и упало легким серым пеплом. Затем повернулся на каблуке, снял со стены старенькое одноствольное ружьецо и вышел из комнаты.

У ворот он встретился с черными спрашивающими глазами Дуни. Она сидела на лавочке, подогнув ноги, и ловко, быстро лущила семечки. Черные, с блеском, волосы ее были заплетены в тугую, длинную косу и украшены желтым бантом, а розовое лицо на фоне серого, дряхлого забора казалось цветком, пришпиленным к сюртуку лавочника.

– На охоту, Сергей Иванович? – спросила она, сплевывая шелуху. – Вот уж Митьки Спиридонова-то нет. Уж он бы вас в такие ли места свел! Сам ходил, бывало, – весь птицей обвешан, страсть что полевал!..¹

– Здорово! – сказал Сергей, разглядывая пестрый ситец Дуниной кофточки, плотно обтянувший тонкое, круглое плечо. – А где же он?

– Далеко – отселе не видать! – рассмеялась девушка. – В солдатах, в Костроме.

– Здорово! – повторил Сергей и улыбнулся. Отчего-то ста-

¹ Полевал – здесь: охотился на полевую дичь.

ло смешно, что Митя Спиридонов ушел в солдаты и, остриженный, скрученный дисциплиной по рукам и ногам, делает разные вольты.²

– А вы, Дуня, пойдете со мной! – пошутил он. – С вами вдвоем, я думаю, мы много настроляем.

– Чего ж я? – хладнокровно сказала Дуня и, помолчав, добавила: – Да и нельзя. Тетка звала подомовничать. Ребята у ней сорванцы, того гляди – дом сожгут... Выдумали тоже!

– А кататься ведь поедете?

– Так ведь то кататься, а не по болоту, юбки задрав, кочкарник месить!

– с живостью возразила девушка. – Какой вы, Сергей Иванович, смешной, право!

И она весело, со смехом блеснула ровными, белыми зубами. Сергей стоял, улыбаясь ее веселью, здоровью и солнцу, бросавшему жаркие тени в углы заборов, поросшие густой, темно-зеленой крапивой.

– Ну, до свидания!

– Обедать-то придете?

– Не знаю... Вы оставьте мне что-нибудь, – если не приду.

Он медленно пошел, вздымая тяжелыми сапогами густую, стоячую пыль дороги и чувствуя за спиной пристальный женский взгляд. Обернуться ему не хотелось.

– Чепуха какая! – с улыбкой зевнул он, завертывая за угол и направляясь к реке.

² Вольт (франц. volte) – поворот.

III

Сергей ушел далеко, верст за семь, и шатался долго, до одурения. Переходя волнистый, зеленый луг, неровно изрезанный тенистыми зигзагами речки, окаймленной кудрявыми купами ивняка, он вспомнил апрель. Тогда здесь было еще сыро, холодно и неуютно. Нога противно чмокала в жидкой, размокшей почве, залепленной блеклой, прошлогодней травой и сгнившими прутьями. Талый снег гнезвился в ямках, предательски закрывая лужи и рытвины, в холодную воду которых неожиданно проступали озябшие ноги. Солнце тускло блестело, скрытое испарениями. Ивняк стоял голый, ободранный, нелепо кривя сучья. Речка еще спала, и лед в ее черных преюющих берегах вздувался грязно-белым горбом, истыканный сетью звериных и птичьих следов. У обрывов, там, где скупо блестели грязные лужицы весенней воды, уныло качались ранние кулики и, завидев человека, с пугливым свистом летели дальше.

Теперь природа казалась женщиной, нарядной, умывшейся после долгой, хмельной ночи. Льющийся звон стоял в траве, сплетаясь дикой, монотонной мелодией с криками птиц. Зеленая и синяя краски рябили в глазах, пестрея лилово-розовым узором цветов. Воздух обливал разгоряченное лицо то сухую жару, то нежными, прохладными волнами.

Далеко-далеко, за сизой полосой леса пронесся слабый,

жалобный свисток паровоза, и снова огромный, тысячеглазый город взмахнул перед глазами Сергея закопченными железными крыльями. Но теперь видение потеряло свою остроту и быстро отлетело в прозрачную, хрустальную даль. Меж цветов, кочек, густо поросших красноголовым кукушкиным мхом, кустами шиповника и малины, оно казалось безжизненным и бледным, как давно виденный сон. Здесь ему не было места. Кудрявый щавель и лаковая зелень брусники взяли Сергея под свою защиту. Он поправил ремень дробовика и хитро, молодо улыбнулся кому-то притаившемуся в глубине кустов.

Прыгали желтенькие трясогузки, кокетливо покачивая длинными прямыми хвостиками. Где-то лениво дергал коростель. Жажда томила Сергея, и он, нырнув в затрещавшие кусты, спустился по крутому, осыпчатому берегу к мелкой струистой речке. У берега вода стояла тихо, пронизанная осокой и водорослями, на дне блестела крупная галька. Наклонившись и промочив колени, Сергей увидел в сумрачном зеркале воды голубое, светлое небо, ушедшее куда-то вниз, далеко под берег, свое темное лицо, спутанные волосы и жилы, вздувшиеся на лбу. Напившись, он еще раз, немного разочарованный, посмотрел на себя. В лице водяного двойника, мужественном, красивом, не было и следа борьбы. Оно глядело спокойно, беспечно, устало и слегка, по обыкновению – насмешливо.

Он вытер платком мокрые губы, надел фуражку и, лени-

во хватаясь за траву, взобрался наверх, чувствуя, как вязкое, нудное беспокойство ходит с ним, преследуя, держит, не спуская с него глаз и отравляя воздух своим дыханием. Оно было похоже на чужой надоедливый груз, который, однако, нельзя бросить, не дотащив до известного места. Вся досада и недоумение выражались в сознании неизбежности завтрашнего дня. А вместе с тем казалось оскорбительным, что люди, которых он в тайниках души всегда почему-то считал стоящими ниже себя, теперь станут, быть может, и даже наверное, презирать его и сострадательно смеяться над ним, хотя он и теперь несколько не хуже их. Но всего досаднее то, что они, люди эти, как будто получали право отнестись к нему так или иначе. И – что уж совсем являлось смешным и нелепым, а в действительности как будто так и выходило – что право это давал он.

Эта испугнутая мысль тревожно билась и ерзала некоторое время, вздымая целый ворох грязного белья, накопленного в душе. За ней двинулись другие, лениво вспыхивая и скучая, враждебные зеленой, тысячеглазой жизни, напиравшей со всех сторон. Серые и однообразные, давно и сотни раз передуманные, стертые, как старые монеты, они назойливо толклись, неуклюжие и заспанные. Обрывки их, складываясь в слова о свободе, героизме и произволе, ползали, как безногие, жалкие калеки.

Смеркалось, а он все ходил, перебирая четки прошлого, пока не захотелось пойти домой. Мыслям его нужны были

стены. Там, свободные от воздуха и усталости, прямые и голые, давно знакомые и надоевшие друг другу, они могли текуче звучать до завтра, пока между ним и ними не упадет широкое лезвие незримого топора и не сделает его, Сергея, открыто самим собой.

IV

Когда он подходил к околице городка, было уже темно, грустно и сонно. В дворах глухо мычали коровы, прыгали сердитые женские голоса. Где-то кричали пьяные. Светились окна. Натруженные ноги горели, словно обваренные кипятком. Хотелось есть, потом лечь и сладко отдохнуть. Сергей нажал брякнувшую калитку и вошел во двор.

Окон не было видно в темноте, и он сначала решил, что все уже спят. Но, поднимаясь на заскрипевшее крыльцо, услышал в черноте дремлющего, парного воздуха сдержанные звуки разговора и женский смешок. Сергей прислушался. Мужской голос, довольный и вместе с тем мечтательный, медленно плыл в глубине сада:

– Вот видите – вы и не в состоянии этого постигнуть... А это, ей-богу – бывает... Вроде как просияние. И это объяснено даже во многих философических книгах.

– Вот уж я бы на этакое не согласна, – быстро заявил женский, Дунин голос. – Вы подумайте! Червями весь прокипишь... Стой, как дурак, целую жисть. А вдруг все даром пропадет?

– Как дурак? – обиженно возразил мужчина. – Это вы совсем напротив. Наоборот – душа особый дар приобретает и все ей известно... Например... Забыл вот только, как его звали... один старец стоял на столбе тридцать лет и три месяца.

И до того, представьте себе, дошел, что звериный и скотский образ мыслей понимать стал!

– Вот стой, – продолжала девушка, и плохо скрытый смех дрожал в ее грудном, певучем голосе, – стой так-то; все богу молись да молись, все о божественном думай да думай, голодай да холодай – а вдруг в мыслях что согрешишь – и поминай как звали все твои заслуги. Не очень приятно.

И, помолчав, добавила:

– Нет уж. Я, например, хоть в аду кипеть буду, так все равно. Вы думаете – там скучно, в аду-то? А я думаю, что все народ очень веселый. И вас, к одному уж, захватить, Митрий Ваныч!! Ха-ха!

Сергей стоял на крыльце, прислушиваясь, и улыбался. Ему хотелось пойти в сад, вести мирный, дурашливый разговор, не видя глаз и лиц, и дышать теплым, сонным мраком. Но идти не решался, а в душе было смутное, верное чувство, что с его приходом разговор оборвется, и всем станет вдруг неловко и скучно.

– Я, Дунечка, – сладко, поучительным тоном возразил Дмитрий Иваныч, – хотя и готов, конечно, проследовать за вами даже на край света, до самых отдаленных берегов Тавриды, но душу свою, извините, в смоле кипятить не желаю, хе-хе... Как это вы так говорите – ровно у вас огромное время грехов!

Прозвенели несвязные, отрывистые переборы гармонии.

– Я – большая грешница, – смеясь заявила девушка. – Ух!

мне никакого спасения нет. Я все грешу. Вот вы божественное говорите, а мне смешно. Сижу вот с вами тут – чего ради? Тоже грех.

– Если бы вы... – вздохнул Дмитрий Иванович, – знали те мои чувства... которыми...

– Отстаньте, пожалуйста. И никаких у вас чувств нет... Сыграйте лучше что ненабудь.

– О жестокая... гм... сирена! Для вас – завсегда и что угодно! Что прикажете? Хороший есть вальс, вчера выучил – мексиканский.

– Н-нет, – протянула задумчиво девушка. – Вы уж лучше тот... «Душистую зелень».

Несколько секунд стояла тишина, и вдруг сильно и певуче заговорила гармоника. Бойкие пальцы игрока быстро переливали грустные, звонкие трели, рывкали басами и дрожали густыми, протяжными вздохами. Трепет ночи и теплый мрак дробились и звенели мягкими, округленными тактами, и звуки вальса не казались ни пошлыми, ни чуждыми захоластью жизни. Поиграв минут пять, Дмитрий Иванович бурно прогудел басами и умолк.

– Очень хорошо! – сказала, помолчав, девушка. – Научите меня, Митрий Ваныч, вальсы плясать!

– Почту себя счастливым услужить вам, – галантно ответил кавалер. – Это, между прочим, самый пустяк... Ну, как ваш жилец-то?

– Что ж жилец? – неохотно протянула Дуня. – Ничего...

живет.

– Фигура заметная, – продолжал Дмитрий Иванович. – И большой гордец... На грош амуниции, а на целковый амбиции. Третьего дня встретился я тут с ним как-то... ну известно – разговор, то да се... Так нет – «до свидания, – говорит, – мне некогда»... А между тем, как это говорится – человек интеллигентный...

– Вы-то уж хороши! – недовольно возразила девушка. – Он даже очень вежливый и совсем простой. С Санькой вон вчера возился, как маленький.

– Ну да, – обидчиво заметил уязвленный Дмитрий Иванович, – это для вас он, конечно, возможно, что и вполне хороший... как он у вас живет два месяца... конечно...

– Вы – пожалуйста! – задорно перебила Дуня. – Не выражайтесь! Живет и живет – что ж тут такое?..

Воцарилось натянутое молчание, и затем гармоника обиженно заголосила пеструю, прыгающую польку. Сергей самодовольно улыбнулся и, пройдя сени, отворил дверь своей комнаты. В лицо пахнула душная, черная пустота. Нашарив спички, он зажег лампу, с жадностью съел холодный обед, разделся и, усталый, сладко потягиваясь на кровати, закурил папиросу. Усталость и сонливость делали теперь для него совершенно безразличным – приедет ли кто-нибудь завтра или нет; просто хотелось спать.

Погасив лампу и повертываясь на бок, он расширил глаза, стараясь представить себе, что мрак – это смерть и что

он, Сергей, бросил бомбу и умер. Но ничего не выходило, и самое слово «смерть» казалось пустым, ничего не значащим звуком.

И, совсем уже засыпая, увидел крепкое, стройное тело девушки. Может быть, это была Дуня, может быть – кто другой. От нее струилось волнующее, трепетное тепло крови. И всю ночь ему снились легкие, упругие руки женщин.

V

Когда – после, спустя много времени – Сергей вспоминал все, что произошло между ним и товарищем, приехавшим на другой день для окончательных переговоров, ему всегда казалось, что все это вышло «как-то не так» и что тут произошла какая-то ошибка. Какая – он сам не мог определить. Но несомненным было одно: что причина этой ошибки лежит не в нем – Сергее, и не в товарище Валерьяне, а там – за пределами доступного ясному и подробному анализу. Как будто обоим стало тяжело друг перед другом не за свое личное отношение к себе и людям, а за то огромное и слепое, имя которому – Жизнь и которое ревниво охраняло каждого из них от простого и спокойного понимания чужой души. Сознать это было тяжело и неприятно еще потому, что и в будущем могло повториться то же самое и снова оставить в душе след больной тяжести и бьющей тоски.

Сергей не знал, что приедет именно Валерьян. Когда на другой день утром вертлявый, смуглый и крикливый революционер шумно ворвался в комнату и начал тискать и целовать его, еще сонного и подавленного предстоящим, – Сергей сразу почувствовал, что объяснение будет тяжелое и злое. Столько было уверенности в себе и в своем знании людей в резких, порывистых движениях маленького кипучего человека, что в первое мгновение показалось невозможным

сознательно отступить там, где давно было принято ясно и твердо выраженное решение. А потом сразу поднялось холодное, твердое упрямство отчаяния и стало свободнее двигаться и легче дышать.

И вместе с этим кислое, нудное чувство отяготило душу, зевая и морщась, как заспанный кот. Все казалось удивительно пресным, бестолковым, совершенно потерявшим смысл. Пока Сергей умывался и одевался, рассеянно и невпопад подавая реплики, Валерьян суетился, присаживался, вскакивал и все говорил, говорил без умолку, смеясь и взвизгивая, – о «текущем моменте», освобожденцах³ и эсдеках, «Революционной России»⁴ и «Искре», полемике и агитации, – говорил быстро, пронзительно, без конца.

Черный, кудластый и горбоносый, в пенсне, закрывающем выпуклые близорукие глаза, стремительный и взбудораженный, он казался комком нервов, наскоро втиснутым в щедушное, жилистое тело. Ерзя на стуле, ежеминутно вскидывая пенсне, хватая Сергея за руки и пуговицы, он быстро-быстро, заливаясь детским самодовольным смехом, сыпал нервные, резкие фразы. Даже его одежда, умышленно пестрая, южной полуприказачьей складки, резко заслоняла обычную для Сергея гамму впечатлений и, казалось, принес-

³ Освобожденец – член либеральной группы, объединявшейся вокруг журнала «Освобождение» (1902–1905), издававшегося за границей под редакцией П.Б.Струве.

⁴ «Революционная Россия» – нелегальная эсеровская газета, издававшаяся в 1900–1905 гг.

ла с собой все отзвуки и волнения далеких городских центров. Сергея он знал давно и относился к нему всегда с чувством торопливой и деловой снисходительности.

Когда, наконец, Сергей убрался и вышел с товарищем в сад, где смеющееся солнце золотилось и искрилось в зелени, как дорогое вино, и оглушительно кричали воробьи, и благоухал пушистый снег яблонь, он почувствовал, что тревога и раздражение сменяются в нем приливом утренней бодрости и выжидательного равнодушия ко всему, что скажет и сделает Валерьян. А вместе с тем понимал, что с первых же слов о деле станет больно и тяжело.

Они сели на траве, в том месте, где густая рябина закрывала угол плетня, примкнувший к старому сараю. Слегка передохнув и рассеянно вскидывая вокруг близорукими глазами, Валерьян начал первый:

– А вы ведь меня не ждали, дядя, а? Ну – рассказывайте – как, что, – иное и прочее? Все хорошо? А? Ну, как же?

– Да вот... – Сергей принужденно улыбнулся. – Как видите. Приехал я, и поселился, и живу... как видите – в благо-растворении воздуха...

– Да! Да?! А? Ну?

– Ну, что же... ем, толстею... пища здесь дешевая. Я здорово отъелся после сидения. Можно сказать – воскрес. Вы ведь видели, какой я тогда вышел – вроде лимона...

– Вроде выжатого лимона, ха-ха! Ну, а это, как его – вы чистый здесь? Слежка есть, а?

– Тише вы... – Сергей оглянулся. – Слежки нет, конечно, какая же здесь может быть. Приехал я... Я сперва думал объявиться ищущим занятий, но потом отбросил эту мысль, потому что это даже не город, а скорее слобода.

– Да, да!.. Ну?

– Ну – так вот... поселился здесь – просто под видом больного на отдыхе. И прекрасно. Знакомств никаких не заводил, да и не с кем... Да и не нужно...

– Да, да, да!.. И знаете ли, что вы, дяденька, – еще счастливейший из счастливых!.. Другие, – он понизил голос, – перед актом держали карантин по пять, по шесть, по девять месяцев! Ничего не поделаете! Нужно! Нужно, понимаете ли, человеку очиститься так, чтобы ни синь-пороха, ни одного корня нельзя было выдрать... А я ведь, знаете, откровенно говоря, сомневался, что у вас хватит выдержки сидеть в этой... ха-ха? – келье под елью. Вы того, человек живой. Хм...

Он уронил пенсне, подхватил его, оседлал нос и таинственно спросил:

– А кто ваши хозяева? А?

– Глава семейства и владелец этого домишки, – кузнец, здесь в депо. Человек смирный и, как говорится, – богобоязненный. По вечерам, когда придет с работы, долго и шумно вздыхая, пьет чай, по воскресеньям напивается вдребезги и говорит какие-то кроткие, умиленные слова. Плачет и в чем-то кается... А вот жена у него – целый базар: рябая, толстая, сырая, и глотка у нее медная. С утра до вечера ругает весь

белый свет. Есть у них еще две дочки: одна – крошка и плакса, а старшая – ничего себе...

Маленький человек слушал, одобрительно хохотал и хлопал Сергея по плечу, вскидывая пенсне.

– Ну, ну? Да? – повторял он беспрестанно, думая в то же время о чем-то другом. И когда Сергей кончил, Валерьян как-то совсем особенно, растроганно и грустно взглянул ему в глаза.

– Ну, так как? – тихо сказал он. – Когда же выезжать вам, как думаете, а?

И как бы опасаясь, что слишком скоро и неделикатно задел острый вопрос, быстро переспросил:

– Скучно было здесь, да?

Кольцо, схватившее горло Сергею, медленно разжалось, и он, стараясь быть равнодушно-твердым, сказал:

– Н-нет... не очень... Я охотился, читал... Страшно люблю природу.

– Природа, да... – рассеянно подхватил Валерьян, и сосредоточенное напряжение легло в мускулах его желтого смуглого лица. – Ну... это – приготовились вы?

Он понизил голос и в упор смотрел на Сергея задумчивым, меряющим взглядом. Сразу почему-то слиняло все забавное в его манерах и фигуре. Он продолжал, как бы рассуждая с самим собой:

– Я думаю – вам пора бы, пожалуй, двинуться... Штучку я привез с собой. Она в комодке у вас. Слушайте, – осторожнее,

смотрите!.. Если ее не бросать об пол и не играть в кегли – можете смело с ней хоть на Камчатку ехать. Вот первое. Затем – деньги. Сколько их у вас?..

Вопрос повис в воздухе и, замерев, все еще звучал в ушах Сергея. Стало мучительно стыдно и жалко себя за всю ложь этого разговора, с начала до конца бесцельную, убого прикрывшуюся беспечностью и спокойствием товарищеской беседы. Он глупо усмехнулся, деланно просвистал сквозь зубы и сказал тонким блуждающим голосом:

– Валерьян! Ужасно скверно... То, что вы ведь в сущности... совсем напрасно, то есть... я хочу сказать... Видите ли – я... раздумал. Только...

С тяжелым, мерзким чувством Сергей повернул голову. В упор на него взглянули близорукие, черные, растерянно мигающие глаза. Валерьян криво усмехнулся и, подняв брови, вопросительно поправил пенсне. В его тонкой желтой шее что-то вздрагивало, подымаясь и опускаясь, как от усилий проглотить твердую пищу. Он сказал только:

– Как?! Да подите вы!..

Звук его голоса, странно чужой и сухой, делал излишними всякие объяснения. Он сидел, плотно закусив нижнюю губу, и тер ладонью вспотевший, выпуклый лоб. И весь, еще минуту назад уверенный, нервный, он казался теперь усталым и жалким.

– Валерьян! – сказал, помолчав, Сергей. – Во всяком случае... Валерьян – вы слышите?

Но, пристально взглянув на него, он с удивлением заметил, что Валерьян плачет. Крупные, неудержимые слезы быстро скатывались по смуглым щекам из часто мигающих, близоруких глаз, а в углах губ сквозила нервная судорога усмешки. И так было тяжело видеть взрослого, закаленного человека растерявшимся и жалким, что Сергей в первую минуту опешил и не нашелся.

– Слушайте, ну что же это такое? – беспомощно заговорил он после короткого, тупого молчания. – Зачем, ну, зачем это?

– Ах, оставьте! Оставьте! Ну, оставьте же! – раздраженно взвизгнул Валерьян, чувствуя, что Сергей трогает его за плечо. – Оставьте, пожалуйста...

Но тут же, быстрым усилием воли подавил мгновенное волнение и вытер глаза. Затем вскочил, укрепил пенсне и заторопился неровным, стихшим голосом:

– Мы с вами вот что: пойдете-ка! Слышите? Нам нужно с вами побеседовать! Куда пойти, а? Вы знаете? Или просто – пойдете в поле! Просто в поле, самое лучшее...

Они вышли во двор, жаркий после прохлады садика; зеленый, в белой кайме бревенчатых строений. На крыльце стояла Дуня, в ситцевом, затрапезном платье и Глафира, ее мать, рыхлая, толстая женщина. Обе кормили кур. Увидев Сергея, Глафира ослабилась и переломилась, кланяясь юноше.

– Здравствуйте, Сергей Иванович! – запела она. – Это вы никак гулять уже направились! Чай-то не будете, штоль,

пить? Гостя-то вашего попойте, право! Экой вы недомовитый, непоседливый, пра-аво!..

– Мы после, – сказал Сергей и рассеянно улыбнулся Дуне, глядевшей на него из-под округлой, полной руки. – Вы самовар-то, конечно, поставьте. Мы после...

В груди его что-то волновалось, кипело, и смущенные, всколыхнутые мысли несвязно метались, отыскивая ясные, твердые слова успокоения. Но все, попадавшееся на глаза, отвлекало и рассеивало. С криками и грохотом ехали мужики, блеяли козы, гудел и таял колокольный звон, стучали ворота. Валерьян шел рядом, черный, маленький, крепко держа Сергея за локоть и резко жестикулируя свободной рукой. Усталый и взвинченный, он крикливо и жалобно повторял, трогая пенсне:

– Но как вы могли, а? Как? Что? Что вы наделали? Ведь это свинство, мальчишество, а? Ведь вы же не маленький, ну? Ах, ах!..

Он ахал, чмокал и быстро, быстро что-то соображал, едва поспевая за крупными шагами товарища. По тону его, более спокойному, и легкой, жалобной и злобной усмешке Сергей видел, что главное уже позади, а теперь остались только разговоры, ненужные и бесцельные.

– Ну, что же вы теперь, а? Ну?

И вдруг Сергею захотелось, чтобы этот стремительный человек, хороший, глубоко обиженный им человек понял и почувствовал его, Сергея, слова, мысли и желания – так, как он

сам их понимает и чувствует. И, забывая всю пропасть, отделявшую его душевный мир от мира ясных, неумолимо-логических заключений, составлявших центр, смысл и ядро жизни маленького, черного человечка, идущего рядом, он весь вздрогнул и взволновался от нетерпения высказаться просто, правдиво и сильно.

– Валерьян, послушайте!..

Сергей набрал воздуха и остановился, подбирая слова. Внутри все было ясно и верно, но именно потому, что простота его чувств вытекала из бесчисленной сложности впечатлений и дум – необходимо было схватить главную, центральную ноту своих переживаний.

– Ну? – устало протянул Валерьян. – Вы – что? Говорите.

– Вот что, – начал Сергей. – Другому я, конечно, ни за что бы, может быть, не высказал этого... Но уж так подошло. Я хотел вам привести вот такой пример... н-ну – такой пример: случалось ли вам... ходить около витрин, и... ну... смотреть – на... это... бронзовые статуэтки? женщин?

– Случалось... Далее!..

– Так вот: когда я смотрю на эти овальные, гармоничные... линии... ясные... которые навеки застыли в форме... которую художник им придал, – мертвые, и все-таки, – мягкие и одухотворенные, – я думаю всегда, – что именно, знаете ли – такой должна быть душа революционера... – Мягкой и металлической, определенной... Ясной, вылитой из бронзы, крепкой... и – женственной... Женственной – потому...

ну, все равно... Так вот: ...Слушайте... себя я отнюдь таким не считал и не считаю... Это, конечно, смешно было бы... Но именно потому, что я – не такой, я хотел жить среди таких... Металл их – альтруизм, а линии – идея... Понимаете? Ноне один альтруизм тут, а...

– Да, конечно, – рассеянно перебил Валерьян. – Ну, что же из этого?

– ...а оказалось совершенно, быть может, то же, что и у меня, – тише добавил Сергей.

Возбуждение его вдруг упало. Ему показалось, что настоящие, искренние мысли по-прежнему глубоко таятся в нем, и говорит он не то, что думает. Валерьян молчал.

– Да... – медленно продолжал Сергей. – Все то же, все как есть: и честолюбие, и жажда ярких переживаний, и, наконец, часто одна простая взвинченность... А раз так, значит я тем более не могу быть металлом... А поэтому не хочу и умирать в образе ничтожества...

– Удивительно! – насмешливо процедил Валерьян. – Ах вы, чудак! Разумеется, все люди – как люди, и ничто человеческое им не чуждо! Ну, что же? Вы разочарованы, что ли?

– Ничего!.. – сухо оборвал Сергей.

И быстро, лукаво улыбаясь, пробежали его другие, тайные мысли и желания широкой, романтической жизни, красивой, цельной, без удержа и страданий. Те, которые он высказал сейчас Валерьяну, – были тоже его, настоящие мысли, но они мало имели отношения к тому, чего он хотел сейчас.

Вместо всего этого сложного лабиринта мелких разочарований, остывшего увлечения и недовольства людьми – просился на язык властный, неуправляемый голос молодой крови: – «Я хочу не умирать, а жить; вот и все».

– Удивительное дело, – сказал Валерьян, повыше вскидывая пенсне и с любопытством рассматривая разгоревшееся лицо товарища. Вы рассуждаете, как женщина. – В вас, знаете, сидит какая-то декадентщина... Не начитались ли вы Макса Штирнера,⁵ а? Или, ха... ха!.. – Ницше?⁶ Нет? Ну, оставим это. Деньги-то у вас есть?

– Нет, Валерьян, не то, – снова заговорил Сергей, сердясь на себя, что хочет и не может сказать того простого и настоящего, что есть и будет в нем, как и во всяком другом человеке. – Вы знаете – я вышел из тюрьмы издерганный, нервно-расстроенный, злой... Я был, как пьяный... Впечатления подавляли, – и вот – созрел мой план... Нервы реагировали болезненно быстро... Но – я уже сказал вам: быть героем я не могу, а винтиком в машине – не желаю...

– Нет! – рассмеялся Валерьян, – вы мне еще ничего не сказали!.. А? Конечно, – вам, как и всякому другому – хочется жить, но при чем тут бронзовые статуэтки? Какие-то обличения? И зачем вы... Ах, ах! Я ведь, в вас, знаете – ни

⁵ Макс Штирнер (псевдоним Каспара Шмидта, 1806–1856) – немецкий философ-идеалист, идеолог анархизма и индивидуализма.

⁶ Ницше, Фридрих (1844–1900) – немецкий философ-идеалист, один из предшественников фашистской идеологии.

секунды не сомневался!..

Он недоумевающе поднял брови и замедлил шаг. Поле дышало зноем, городок пестрел в отдалении серыми, красными и зелеными крышами.

– Вы надоели центральному комитету! Вы всем уши прожужжали об этом! Вы чуть ли не со слезами на глазах просили и клянчили... Ведь были же другие? Эх вы! Все скачки, прыжки... Впрочем, теперь что же... Но – хоть бы вы отсюда написали, что ли? А?

Сергей молчал. Раздражение подымалось и росло в нем.

– Во-первых, я не ожидал, что так скоро... – жестко сказал он... – А теперь – я вам сказал... Там уж как хотите.

– Ну, ну... Что же вы теперь намерены?

– Не знаю... Да это неважно.

– Д-да... пожалуй, что так... Дело ваше... Ну, ладно. Так прощайте!

– Куда же вы? – удивился Сергей.

– А туда! – Валерьян махнул рукой в сторону, где, далеко за рощей, краснело кирпичное здание станции. – На поезд я поспею, багаж сдан на хранение... Ну, желаю вам.

Он крепко пожал Сергею руку и пристально взглянул на него сквозь выпуклые стекла пенсне черными, быстрыми глазами.

– Да! – встрепенулся он, – я ее оставил там у вас, в комнате. Она мне теперь не нужна... Вы ее бросьте куда-нибудь, в лес хоть, что ли, где-нибудь в глушь...

– Хорошо, – грустно сказал Сергей. Ему было жаль Валерьяна и хотелось сказать что-то теплое и трогательное, но не было слов, а была тревога и отчужденность.

Маленький, черный человек быстро шел к станции, размахивая руками. Сергей долго смотрел ему вслед, пока худая, низенькая фигурка совсем не превратилась в черную, ползущую точку. Через мгновение ему показалось, что Валерьян обернулся, и он быстро махнул платком, смотря в зеленую пустоту. Ответа не было.

Черная точка еще раз приподнялась, переходя пригорок, и скрылась. Солнце беспощадно палило сухим, желтым светом, и зелень молодой травы сверкала и нежилась в нем. Вдали дрожал и переливался воздух, волнуя очертания тонких, как линейки нотной бумаги, изгородей. За рощей вспыхнул белый, клубчатый дымок и тревожно крикнул паровоз.

Идя домой, Сергей вспоминал все сказанное Валерьяну. И жаль было прошлого, неясной, смутной печалью.

VI

Ходить взад и вперед по маленькой комнате, задевая за угол стола и медленно поворачиваясь у желтенькой, низенькой двери, становилось скучно и утомительно. При каждом повороте Сергей прислушивался к упругому скрипу сапожного носка и снова шел, механически отмечая стук шагов. Думать, расхаживая, было удобнее. Он привык к этому еще в тюремной камере, которую чем-то, должно быть, своим размером, странно напоминала его комната.

Волнение давно улеглось, и осталось чувство, похожее на чувство человека, посетившего дневной спектакль: вечерний свет, музыка, игра артистов... Несколько часов он видит и слышит прибранный, поэтический уголок жизни... А потом белый, назойливый день снова царит и грохочет, и снова хочется обманного, золотистого вечернего света.

Плоские, самодовольные обои пестрели вокруг намалеванными, грязными цветочками. Ветер вздувал занавеску, и она слабо шуршала на столе, шевеля клочки бумаги и обгрызанный карандаш. Заглавия книг кидались в глаза, вызывая скуку и отвращение. Серьезные, холодные и нестерпимо надоевшие, они рождали представление о монотонной жизни фабричного мира, бесчисленных рядах цифр, пеньке, сахаре, железе; о всем том, что бывает, и чего не должно быть.

День гас, убегая от городка плавными гигантскими шага-

ми, и следом за ним стлалась грустная тень. Где-то размеренно и сочно застучал топор; перебивая его, быстро заговорил молоток, и два стука, тяжелый и легкий, долго бегали один за другим в затихшем воздухе. Сергей сладко, судорожно зевнул, хрустнул пальцами и остановился против стола.

Между книгами и письменным прибором лежала небольшая, металлическая коробка, формой и тускло-серым цветом скорее напоминавшая мыльницу, чем снаряд. Было что-то смешное и вместе с тем трагическое в ее отвергнутой, ненужной опасности, и казалось, что она может отомстить за себя, отомстить вдруг, неожиданно и ужасно.

Он вспомнил теперь, что, войдя в комнату, сразу ощутил в ней присутствие постороннего, почти живого существа. Существо это лукаво глядело на него и щупало взглядом, безглазое, – сквозь стенки комода, покорное и грозное, как вспыльчивый раб, готовый выйти из повиновения. Теперь оно лежало на столе, и Сергей смотрел на квадратную стальную коробку с жутким, любопытным чувством, как смотрят на зверя, беснующегося за толстыми прутьями клетки. Хотелось знать, что может выйти, если взять эту скучную с виду вещь и бросить об стену. Острый, тревожный холод пробежал в нем при этой мысли, зазвенело в ушах, а домик, в котором он жил, показался выстроенным из бумаги.

Сумерки вошли в комнату неслышными, серыми тенями. Скука томила Сергея и нетерпеливым зудом тревожила тело. Стараясь прогнать ее, он вспомнил грядущий простор жиз-

ни, свою молодость и блеск весеннего дня. Но темнота густела за окном, и скованная ею мысль бессильно трепетала в объятиях нудной, тоскливой неуверенности. От этого росло раздражение и робкая тихая задумчивость. И вдруг, сначала медленно, а затем быстро и яснее зародилась и прозвенела в мозгу старинная мелодия детской, наивной песенки:

...Да-ца-арь, ца-арь, ца-арев сын,
Наступи ты ей на но-жку-да ца-арь, ца-арь,
Ца-арев сын,
Ты прижми ее к сер-деч-ку, да-ца-арь, ца-арь,
Ца-арев сын...

Слабое воспоминание детства колыхнулось как смутный, древний сон и резко заслонило черной, прыгающей спиной Валерьяна. Она таяла, удаляясь. Сергей стиснул зубы и тупо уставился в стену. И стена, одетая сумраком, смотрела на него, молча и сонно.

«У меня дурное настроение, – подумал он. – Это приходит так же, как и уходит. Оно пройдет. Тогда станет опять весело и интересно жить. В самом деле – чего мне бояться?»

– Сергей – чего тебе бояться? – сказал он вполголоса.

Но мозг не давал ответа и не зажигал мысли, а только грузно и медленно перекачивал камни прошлого. Там были всякие большие и маленькие, темные и светлые. Темные – сырые и скользкие, торопливо падали на старое место, и больно было снова тревожить их.

Он будет жить. Каждый день видеть небо и пустоту воздуха. Крыши, сизый дым, животных. Каждый день есть, пить, целовать женщин. Дышать, двигаться, говорить и думать. Засыпать с мыслью о завтрашнем дне. Другой, а не он, придет в назначенное место и, поблуднев от жути, бросит такую же серую, холодную коробку, похожую на мыльницу. Бросит и умрет. А он – нет; он будет жить и услышит о смерти этого, другого человека, и то, что будут говорить о его смерти.

За стеной пили чай, кто-то ворочался на стуле и тяжело скрипел. Бряцали блюдца, смутный гул разговора назойливо лез в уши. В сенях хлопнула дверь, и затем в комнату тихо постучали.

– Что там? – встряхнулся, вздрогнув, Сергей.

За дверью женский голос спросил:

– Лампу зажечь вам?

– Зажгите, Дуня. Войдите же.

Девушка, не торопясь, вошла и остановилась темной, живой тенью. Сергей несколько оживился, точно звуки молодого, звонкого голоса освобождали душу от когтей вялого беспредметного уныния.

– Ничего-то ровнешенько не вижу, – сказала Дуня, шаря в темноте. – Где лампа?

– Без керосина совсем, вот здесь – нате!

Он подал ей, осторожно двигаясь, дешевую лампу в чугунной подставке, и пальцы его коснулись тонких, теплых пальцев Дуни.

– Я заправлю, – сказала она. – Сию минуту.

– Ничего, я подожду... Слушайте, Дуня: ну как – катались вчера?

– Ничего мы не катались, – досадливо протянула девушка. – Лодок-то не было. Все, как есть, поразобрали, такая уж досада... А своя еще конопатчика просит... Я сию минуту...

Она бесшумно скользнула в мрак сеней, хлопнув дверь. Сергей заходил по комнате, насвистывая старинную песенку о царе – царице сыне и видел горячую, курчавую головку мальчика, сонно шевелящего пухлыми губками. Он ли это был? Как странно. Но уже становилось веселее и тверже на душе, захотелось уютного света, чаю, интересной книги. То, что думает Валерьян, принадлежит ему и таким, как он; то, что думает Сергей, принадлежит Сергею. В этом вся штука. Не нужно поддаваться впечатлениям.

Далекий призрак каменного города пронесся еще раз слабым, оторванным пятном и растаял, спугнутый шагами прохожих. Шаги эти, тяжелые и неровные, смутно раздались под окном и замерли, встревожив тишину.

VII

Вошла Дуня, и желтый свет прыгнул в комнату, обнажив стены и мебель, закрытые тьмой. Стало спокойно и весело. Девушка поставила лампу на комод и слегка прикрутила огонь.

– Вот так, – сказала она. – Что вы?

– Я ничего не сказал, – улыбнулся Сергей, подымаясь со стула. Заложив руки в карманы брюк, он остановился против Дуни.

– Так-то, – сказал он. – Ну – как вы?

Ему хотелось говорить, шутить и казаться таким, каким его считали всегда: ласковым, внимательным и простым. Никаких усилий это ему никогда не стоило, а сознавать свои качества было приятно и давало уверенность.

Девушка стояла у дверей в ленивой, непринужденной позе, касаясь косяка волосами устало откинутой головы. Сергей смотрел на ее крепкое, стройное тело с завистливым чувством больного, наблюдающего уличную жизнь из окна скучной, бесцветной палаты.

– Что подельвали сегодня? – спросил он, заглядывая в ее темные, смущающиеся глаза.

– Вот спать скоро пойду! – рассмеялась девушка и зевнула, закрыв рот быстрым движением руки. – Уж так ли я устала – все суставчики болят.

– Разве ходили куда?

– Ходила... В лес за шишками. – Дуня снова протяжно зевнула и потянулась ленивым, томным движением. – За шишками еловыми для самовара... Целый мешок приволокла...

«Красивая... – подумал Сергей. – Выйдет за какого-нибудь портного или лавочника. Будет шить, стряпать, нянчить, много спать, жиреть и браниться, как Глафира».

– А вы, небось – опять, поди, за книжку сядете? – быстро спросила Дуня. – Хоть бы мне когда ка-кой-ни-на-есть роман достали... Ужась как люблю, которые интересные... А Пушкина бы вот, – тоже!..

– Дуня-я-а! Ле-ша-ай! – закричала в сенях Глафира привычно сердитым голосом. – К Саньке ступай!..

– А ну тебя! – тихо сказала девушка, прислушиваясь и смотря на Сергея.

– Сейчас! – крикнула она громким, озабоченным голосом и, шумно распахнув дверь, быстрым, цветным пятном скрылась из комнаты. После ее ухода в тишине слышался еще некоторое время шелест ситцевой юбки, а в воздухе, у дверного косяка, блестела розовая улыбка.

И вдруг, как это бывает на улице, когда какой-нибудь прохожий пристально посмотрит сзади, и человек безотчетно оборачивается, чувствуя этот взгляд, – Сергей неожиданно, вспомнив что-то, повернулся к столу. Маленький металлический предмет, похожий на мыльницу, безглазый, тускло

смотрел на него серым отблеском граней. Собранный в своих стальных стенках плоды столетий мысли и бессонных ночей, огненный клубок еще не родившихся молний, с доверчивым видом ребенка и ядовитым телом гремучей змеи, – он светился молчаливым, гневным укором, как взгляд отвергнутой женщины. Сергей пристально глядел на него, и казалось, что два врага, подстерегая и затаив дыхание, собирают силы. И человек усмехнулся с чувством злорадного торжества.

– Ты бессильна, – тихо и насмешливо сказал он. – Ты можешь таить в себе ужасную, слепую силу разрушения... В тебе, быть может, спрессован гнев десятка поколений. Какое мне дело? Ты будешь молчать, пока я этого хочу... Вот – я возьму тебя... Возьму так же легко и спокойно, как поднимают репу... Где-нибудь в лесу, где глохнет человеческий голос, ты можешь рывкнуть и раздробить сухие, гнилые пни... Но ты не сорвешь мою кожу, не спалишь глаза, не раздавишь череп, как разбивают стекло... Ты не обуглишь меня и не сделаешь из моего тела красное месиво...

Он взял ее, тяжелую, гладкую и холодную. Потом достал полотенце, тщательно и осторожно укутал в него снаряд, надел шапку, положил в карман клубок бечевы, погасил лампу и вышел из комнаты.

VIII

Ночь торжествовала и ширилась, полная тишины и слабых, замирающих звуков. Звезды ярко жгли черное пространство. Земля терялась в мраке, и ноги ступали ошупью в сырой, невидимой траве. Дул ровный, спокойный ветер, изредка замирая, и тогда дышало теплом. Холмики и канавы прятались, медленно выступая темными, уснувшими очертаниями. На горизонте, как далекий пожар, краснел узор месячной полосы.

Шаг за шагом, осторожно подвигаясь вперед, стараясь не запнуться, Сергей обходил кочки и рытвины. Черные, молчаливые кусты шли навстречу неровными, густыми рядами и когда он встречал их – медленно открывали узкие, извилистые проходы, полные лиственного, сырого шороха. Казалось, что они спали днем, ослепленные светом, а теперь проснулись и думают таинственную, старинную думу. Трава подымалась гуще и выше, и ноги ступали в ней с мягким, влажным хрустом. Когда Сергей раздвигал руками кусты, ветви их упорно и быстро выпрямлялись, стегая его в лицо холодными, мокрыми листьями.

Он шел, и казалось ему, что он спит и во сне движется вперед с тяжелым, жутким металлом за пазухой, стерегущим каждый его шаг, каждое сотрясение тела, готовым украсть и разомчать его, одинокого, затерянного, в сонной равнине,

полной тайны и безмолвия. Бывшее раньше – вставало теперь длинным, бесконечным сном, и все вокруг – ночь, мрак, сырость и кусты – казалось продолжением этого, одного и того же, вечного, то яркого, то смутного сна.

Ночь шла, бесшумно двигаясь в вышине, и он шел, напряженный, слушающий. Казалось ему, что смерти нет и что он, Сергей, всегда будет жить и чувствовать себя, свое тело, свои мысли. Будет всходить и заходить солнце, леса сгниют и обратятся в прах; исчезнут звери, птицы; одряхлев, рассыплются горы; моря уйдут в недра земли, а он никогда не умрет и вечно будет видеть голубое небо, золото солнца и слушать ночной мрак...

В стороне затрещало, всхлопнуло, и тонкий писк невидимой птицы сонной жалобой скользнул в кусты. Мрак впереди поднялся черной, зубчатой пастью и задышал холодком. Это близился лес; огромное уснувшее тело его печально гудело и шепталось вершинами. Еще несколько шагов, и деревья потянулись вперед слабо различимыми очертаниями, открывая ряды черных, таинственных коридоров. Кусты отступили, сомкнувшись за спиной.

Сергей вошел под хвойные, нависшие своды. Хворост трещал под ногами; впереди темной толпой выходили и расступались деревья. Наверху скрипело и вздыхало, как будто кто-то огромный, мшистый ворочался там, роняя шишки, падавшие вниз с легким, отчетливым шелестом.

Нервная жуть, похожая на робость вора, хватала его, когда

трещали прутья, сломанные ногой, и, казалось, вздрагивала тишина. Все спало вокруг, сырое, огромное. Мохнатые лапы елей висели вниз, задевая голову, корявые пни торчали, как уродливые гномы, вышедшие на прогулку. Корни бурелома, вывороченные с землей, чернели узловатыми, кривыми щитами, и за каждым из них кто-то сидел, притаившийся и дикий. Где-то ухало и стонало. Изредка хлопала ночная птица, с шумом усаживаясь повыше и затихая вновь.

Он выбрался на поляну, где было еще печальнее и глуше от темных, ползающих вверху туч, и остановился. Затем бережно положил сверток на землю, развернул полотенце и крепко обмотал бечевками крест-накрест металлический предмет. Потом выбрал дерево с высокими сучьями и, затаив дыхание, привстал на цыпочки, заматывая бечеву от снаряда вокруг сучка так высоко, как только мог достать руками. Привязав к тому же сучку конец другой бечевки, более толстой, он стал разматывать ее, пятясь задом к другой стороне поляны.

Бечевы хватило шагов на тридцать. Когда она кончилась, Сергей лег за огромный высокий пенёк, плотно втянув голову в плечи, и, замирая от ожидания, медленно потянул конец. Бечева упруго натягивалась, дрожала, и вдруг, оробев, Сергей отпустил ее, и сердце его заколотилось.

Но пенёк был надежен и расстояние достаточно. Тогда он закрыл глаза и, похолодев, дернул изо всех сил.

В ушах болезненно зазвенело. Тишина лопнула огром-

ным, паническим гулом, и мрак прыгнул вверх, ослепив и обнажив зазвеневшим блеском лесную глубину. Взрыв загремел тысячами звонов, тресков и протяжных, хохочущих криков. Шум исступленно заплясал вокруг, растягиваясь беглым, замирающим кругом. Эхо завздыхало, плача тонкими голосами, и сгибло вдали.

Оглушенный и ослепленный ярко-молочным блеском, Сергей поднялся, пошатываясь, с судорожно бьющимся сердцем. В глазах его еще плыл зеленый, вырванный из мрака ударом взрыва, уголок леса. Уши ломило, и в них дробился отчетливый, переливчатый звон. Казалось, пройдет еще мгновение, и тайна тьмы, оскорбленная святотатством, ринется на него всем ужасом лесной, хитрой жути.

Он глубоко вздохнул и выпрямился. Сверху еще падали, дергая за платье и руки, обломки сучьев, комья земли, какие-то палки. Сергей прислушался. Но было тихо, словно ничто не потревожило глушь.

Он торопливо бросился к тому месту, где, минуту назад, на сучке висела плоская, тяжелая коробка. Дерево лежало, разбитое вдребезги у корней, дерн и сырая, взрытая земля громоздились вокруг. На самом месте удара образовалась неровная, продолговатая яма. Он постоял, успокоился и пошел домой.

И снова жадная тьма шла за ним, забегая вперед, а ноги ступали теперь легко и быстро. Снова шли навстречу деревья, раздвигаясь узкими, кривыми проходами. Тишина об-

нимала пространство, тянулась вверх и кивала темной, неясной зыбью.

IX

Соборный, далекий колокол мягко прогудел одиннадцать раз, когда Сергей, усталый и взвинченный, отворял калитку, пролезая под загремевшую цепь. Спать ему совсем не хотелось, и он несколько секунд стоял у крыльца, задумчиво вытирая ладонью влажный, вспотевший лоб.

Теплое звездное небо дышало покоем, и в его черной пропасти стыли волнистые купы деревьев сада, словно гряда туч, севших на землю. Замирая в тишине, стучали где-то шаги, и казалось, что их родит сам воздух, пустой и черный. Стукала колотушка сторожа мягкой деревянной трелью. Трава слабо шелестела под ногами. Сергей вошел в сад, охваченный ароматной, пряной духотой растительной гущи. Листва молчала, как вылитая из железа, и вдруг, оживая в мягком, печальном вздохе, шумела трепетной, переливчатой дрожью. И казалось Сергею, что кудрявые, листовые волны темными объятиями смыкаются вокруг, стремясь поглотить его ленивое, истомленное тело. В черной глубине деревьев красным узором светились окна соседнего домика, как яркие угли, тлеющие в золе.

Где-то, должно быть, во дворе, скрипнула дверь и слегка прошумело. Сергей машинально прислушался, ему показалось, что там ходят. Быть может – Дуня. Но все молчало, и окна спали. Мысли его ушли в комнату хозяйской дочери,

где она теперь, вероятно, спит, ворочаясь в жаркой, нагретой постели белым, гибким телом. Так думалось безотчетно и потому приятно. А через мгновение захотелось разговаривать и передать другому сдержанное кипение души, настроенной взволнованно и как-то особенно грустно-хорошо. Сырые тяжелые запахи струились из земли и хмельным паром бродили в голове. Пахло черемухой, яблонью, тмином и гнилостью мокрых пней.

Кусты шарахнулись и замерли легким, упругим треском. Кто-то живой, дышащий стоял в темноте, спрятанный черными тенями сада. Сергей встрепенулся и насторожился.

– Кто это?! – негромко спросил он, всматриваясь.

– Кто тут?! – вздрогнул в ответ тонкий, испуганный возглас.

Сергей узнал и улыбнулся.

– Как же это вы, Дуня, не спите? – подзадоривающе протянул он. – Шишек-то, шишек-то что насобирали сегодня! Чай, умаялись ведь?!

– Ох, господи! Перепугали только, аж сердце заколотилось!.. Потому вот и не сплю, что я вам не спрос, а вы мне не указ. – Девушка успокоилась, и уже насмешливые нотки зазвенели в ее голосе. – А вы чего полунощничаете? Может – клад заговариваете?

Она засмеялась тихим, вздрогнувшим смехом. И Сергей подумал, что здесь, вероятно, скрытая мраком, она чувствует себя увереннее и свободнее, чем тогда, когда приходит с

лампой, или подметать, неловко поддерживая обрывки разговора.

– Не сплю... – сказал он. – Не спится. Хожу и думаю. Здесь у вас хорошо, в садике.

– Мне-то бы спалось, – лениво отозвалась девушка, – да что-то неохота...

Она помолчала и бросила, усаживаясь на землю:

– Вы вот – ученый... Зачем люди спят?..

– Затем, что сон восстанавливает силы, потраченные в течение дня, – привычно-поучительным тоном сказал Сергей. – Это необходимо...

– Та-ак... – задумчиво протянула Дуня. – Не спится. А голова вот – как кадушка, пустая... Буду сидеть тут, пока сон сморит...

Сергей подошел ближе к девушке. В темноте слышалось ее дыхание, неровное, длинное.

– Так принести вам Пушкина? – спросил он, опускаясь рядом с ней на траву, и вздрогнул, задев рукой отодвинувшуюся Дунину ногу. – А почему вам непременно хочется Пушкина?

– Он стихи пишет, – вздохнула девушка. – Я страсть люблю, ежели хороший стишок... А вы?

– Да, и я, – рассеянно сказал Сергей.

Наступило молчание. И, чем дольше тянулось оно, тем напряженнее подымалось в душе Сергея сладкое, щемящее волнение, тесня дыхание и мысль. Кровь медленно прили-

вала в голову. В темноте он видел только смутную белизну женского лица и рук, опущенных на колени. Дуня сидела, слегка подняв голову. Молчание росло, и было сладко и жутко прервать его.

– Дуня! – вдруг отрывисто сказал Сергей, и свой голос, сдавленный, дрогнувший, показался ему чужим. Тревожная жуть выросла в жаркое, расслабляющее волнение, от которого тело сделалось легким, а дыхание – тяжелым и частым.

– Что вы? – поспешно ответила девушка и сейчас же продолжала деланно-беззаботным голосом: – Ах, смотрите! Звездочек-то што! Так и плавают!

Снова настало чуткое, напряженное молчание. Его невидимая нить трепетно протянулась между ними, мешая думать и разговаривать.

– Дуня! – повторил Сергей. Ощупью протянув руку, он коснулся ее пальцев и вздрогнул, чувствуя мягкое, горячее тело. Тяжелый ком рос в его груди, дыша короткими, глубокими сокращениями. Девушка сидела не двигаясь, как сонная. Тогда он сильно сжал ее руку и неловко, краснея в темноте, потянул к себе. Рука упруго сопротивлялась, дрожа в его сильных, горячих пальцах. Заторопился слабый конфузливо-взволнованный шепот:

– Оставьте, ну же... Оставьте... что это?!

Она стала вырывать руку резкими движениями, но, видя, что Сергей уступает, вдруг сильно сдавила его ладонь тонкими, влажными пальцами. Пьяная волна кинулась ему в лицо.

Он схватил девушку за руку выше локтя, а другой обнял спереди, сжимая ее упругую грудь и быстро целуя пахучие, пушистые волосы. Дуня слабо вздохнула и затихла, вздрагивая. Сергей торопливо, путаясь, жадными, неловкими движениями расстегнул ее кофту и затрепетал, коснувшись жаркого, влажного тела.

Вдруг она вскочила, отчаянно вырываясь и вытягивая руки вперед. На темном изгибе ее стана судорожно колыхалась белая, смятая рубашка. Отуманенный Сергей бросился к ней, и две тонкие женские руки уперлись ему в грудь, с силой толкнув назад.

– Дуня... милая, – слушайте... что вы?!

– Нет, нет, нет! – зачастила девушка глухим, умоляющим шепотом, покачиваясь и шумно дыша. – Нет, нет!.. Сергей Иванович, голубчик, не надо!.. Завтра... вам... Завтра скажу!..

Слова ее, как птицы, порхнули мимо Сергея пустыми, бессмысленными звуками. И он снова, волнуясь и торопясь, потянул ее к себе, ломая тонкую мягкую руку.

Дуня рванулась последним, решительным движением, и кусты, прошумев треском и быстрыми шагами – стихли. Через мгновение в глубине двора хлопнула дверь и все смолкло, но Сергею казалось еще, что в темном, сыром воздухе часто и громко стучит испуганное сердце девушки. Иллюзия была так сильна, что он инстинктивно вытянул руку вперед. Рука коснулась пустоты и опустилась. Это стучало его собственное тревожное сердце.

Он сел на землю и, весь дрожа от неостывшего еще возбуждения, приложил к пылающему лицу сырые, холодные листья. Сердце все еще стучало, но уже тише и ровнее. Сад молчал.

Дуня, Валерьян, стальная коробка, взрыв, фальшивый паспорт, снова Дуня – мелькало и путалось в голове неровными, пестрыми скачками. Завтра он уедет из тихого, сонного городка, уедет жить другой, неясной жизнью.

– Жить! – сказал он негромко, прислушиваясь. – Хорошо...